

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В

БОЛЬШИЕ КНИГИ

Василий Гроссман

ЖИЗНЬ И СУДЬБА



Издательство «Азбука»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Г 88

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Иллюстрация на обложке Юрия Галькова

ISBN 978-5-389-11046-5

© В. С. Гроссман (наследники), 2021
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в 1905 году, 12 декабря, в г. Бердичеве на Украине. Отец мой по профессии инженер-химик — в настоящее время живет в Москве, пенсионер. Мать моя учительница, преподавала иностранные языки — французский. Она погибла во время войны, в сентябре 1941 года.

Когда мне было 5 лет, я вместе с матерью поехал в Швейцарию, прожил там до семилетнего возраста, учился в начальной школе, в 1914 году я поступил в подготовительный класс Киевского реального училища 1-го общества преподавателей, но в годы Гражданской войны уехал с матерью в г. Бердичев, где учился и работал пильщиком дров.

В 1921 году я поступил на подготовительный курс Киевского высшего института народного образования, где и проучился до 1923 года.

В 1923 году я перевелся в 1-й Московский университет на химическое отделение физико-математического факультета. В 1929 году я закончил университет. Во время учебы я пользовался материальной поддержкой родителей и частично зарабатывал сам: работал воспитателем в коммуне беспризорных детей, давал уроки. В 1929 году по окончании университета я поехал в Донбасс и поступил на работу в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ, заведовал химической (газоаналитической) лабораторией на шахте Смолянка II. В Донбассе я прожил по 1933 год — работал помимо Макеевского института в Донецком областном институте патологии и гигиены труда в химической лаборатории — старшим научным сотрудником, а затем ассистентом кафедры химии в Сталинском мединституте (г. Сталино). За время пребывания в Донбассе мной были сделаны несколько научных работ, посвященных происхождению и выделению ядовитых газов в каменноугольной выработке. В 1933 году я переехал в Москву и стал работать старшим химиком, а затем заведующим лабораторией и помощником главного инженера на карандашной фабрике им. Сакко и Ванцетти. На фабрике я проработал до 1934 года.

АВТОБИОГРАФИЯ

В апреле 1934 года в «Литературной газете» был опубликован мой рассказ «В городе Бердичеве». В мае 1934 года меня вызвал к себе А. М. Горький. Встреча с Горьким определила мое решение стать писателем. В том же году А. М. Горький опубликовал в альманахе «Год XVI» мою повесть «Глюкауф», посвященную шахтерам Донбасса. Я начал работать над книгой рассказов. С 1934 по 1936 год мною было выпущено две книги рассказов — «Счастье» и «Четыре дня».

В 1936 году я начал работу над романом «Степан Кольчугин». Работа эта заняла у меня четыре с лишним года. Работу над романом я не довел до конца, этому помешала война. «Степан Кольчугин» печатался в Гослитиздате и в Детиздате, а также в «Роман-газете». В послевоенное время он также издавался дважды.

Летом 1941 года я был мобилизован в армию, мне было присвоено звание интенданта 2-го ранга. Я был назначен на работу в редакцию «Красная звезда» на должность специального корреспондента. Жена моя с сыновьями выехала в эвакуацию в г. Чистополь. Там в 1942 году погиб от взрыва снаряда во дворе военкомата старший сын Михаил.

Я был направлен на Центральный фронт в августе 1941 года. Проработал я в редакции «Красной звезды» на протяжении всей войны и был демобилизован осенью 1945 года. На протяжении войны мной было написано несколько рассказов, много очерков и одна повесть «Народ бессмертен». Почти все написанное мной публиковалось в газете «Красная звезда», а затем выходило в сборниках и отдельных изданиях: «Народ бессмертен», книга очерков «Сталинград», книжки «Треблинский ад», «Жизнь», «Советский офицер» и др.

В 1946 году вышла моя книга «Годы войны», где собраны произведения, написанные за время моей военной корреспондентской работы.

В 1947 году была опубликована в журнале «Знамя» моя пьеса «Если верить пифагорейцам», получившая отрицательную оценку в критике. Пьеса эта была написана мной до войны. В 1945 году я взял на себя редактирование «Черной книги» о массовом убийстве евреев немецкими фашистами.

Моей основной, главной работой в послевоенное время было написание романа, посвященного Великой Отечественной войне. Работу эту я начал еще во время войны, посвятил ей восемь лет. В настоящее время первый том этой книги объемом 40 печатных листов сдан мной в редакцию журнала «Новый мир». Я продолжаю работу над вторым томом романа.

9 мая 1952 г.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА



*Посвящается моей матери
Екатерине Савельевне Гроссман*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной, и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров — к нему тянулись, всё сгущаясь, провода, шоссе и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завывли далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшеленом. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразлично схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь гложет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета.

та. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

— Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшелонном, разодранный воздух затрещал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

— Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

— Давай-ка продолжительный, — сказал он, — нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему не часто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции, там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», — все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных барачков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной — у политических, черной — у саботажников, зеленой — у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами, и с тоской поглядывали — не идут ли *Kostträger* — носильщики бачков, — «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, — у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, — преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники — прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках — немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма — покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках — воры и взломщики — были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику, национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагеря стали городами Новой Европы. Они росли и ширились, со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами.

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бара-

ках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция — капо, носившая на левых рукавах широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры — охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства — даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах — бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбежаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам... Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плембеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направившихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского

и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну — она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней — Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир — польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин...казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери — оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дожидается окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе — можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов

и о лагерных футбольных командах, — лучшая: плантаж — Moorsoldaten¹, силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хо-роши и лживы — опиум лагерного народа.

4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», — подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

— Но ничего, — сказал шепотом Андреа, — еще можно узнать.

— У коменданта лагеря? — спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. — Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесночную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «тути капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, тути капути», — и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его — папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

¹ Болотные солдаты (нем.).

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

— Ну, не скажите, — проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его иступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий, быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа; и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, — храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно выпускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей Матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

— Vous me comprenez?¹

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

— Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela².

¹ Вы меня понимаете? (фр.)

² Я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите (фр.).

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек — Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша.

Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с безразличной жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом — Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

— Что скажет доброго товарищ? — спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

— Сказать доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

— Вопрос с седой бородкой, — сказал Мостовской, — о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

— И решили? — с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

— Вот Красная армия, — сказал Мостовской, — сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий элей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

— Иначе не может быть, — сказал Иконников, — ведь я был толстовцем.

— Вот так фунт, — сказал Михаил Сидорович. Странный человек заинтересовал его.

— Видите ли, — сказал Иконников, — я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции

против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

— Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

— Нет, — хмуро проговорил Иконников. — Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда — я не диалектик.

— Так, — сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, — чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

— Не смейтесь надо мной! — Горестный голос его прозвучал трагично. — Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев — женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом...

— Ну что ж, — сказал Михаил Сидорович, — поговорим.

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

— Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный — не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей и рук с обломанными ногтями, темно-коричневой шеи.

Советским военнопленным, людям с простой биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Икон-

СОДЕРЖАНИЕ

Автобиография	5
---------------------	---

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Часть первая	9
Часть вторая	314
Часть третья	604

Гроссман В.

Г 88 Жизнь и судьба : роман / Василий Гроссман. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 864 с. — (Русская литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-11046-5

Пронзительную, безысходную правду о жизни людей и мира рассказал в романе-эпопее «Жизнь и судьба» безжалостный и отважный писатель Василий Гроссман.

Лучшие герои этой книги неизбежно попадают между двух огней: сражаясь с фашизмом, защищают сталинскую систему, но существенно ли различаются немецкий лагерь и Лубянка?.. Из последних сил люди воюют за свободу и справедливость, но наступят ли они после победы?..

История об освободительной войне ради нового рабства вышла из-под пера Гроссмана вопреки осторожности и инстинкту самосохранения: более полувека назад роман арестовали, и это укоротило автору жизнь. Сегодня его книга, получившая мировую известность, читается как суровый гимн подлинной свободе — свободе духа, сохранение которой составляет основу человеческого бытия, а утрата означает неизбежную смерть.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ГРОССМАН

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Елена Шнитникова, Ирина Сологуб
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 06.10.2021.
Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 54. Заказ № .

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



Y-ARI-19076-04-R